

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Г.И. МУСИХИН

Классификация теорий суверенитета как попытка преодоления “концептуального эгоизма”

Понятие суверенитета – одно из самых часто используемых как в сфере права и политической науки, так и в риторических спорах. Все это вносит в понимание суверенитета большую путаницу. Если попытаться свести эпистемологический релятивизм вокруг этого понятия к наиболее существенным элементам, то выяснится, что наиболее часто к суверенитету прибегают в качестве юридического обоснования, описательного утверждения и нормативной теории. Выделив на этой основе ключевые единицы анализа, а также цели последнего, можно попытаться построить классификацию различных теорий суверенитета, а также проследить их взаимодействие.

Суверенитет – неоднозначное понятие до такой степени, что не существует консенсуса даже по поводу того, является ли данное понятие дискуссионным или бесспорным в своей основе (см. об этом [Мусихин, 2009; Walker, 1990; 1993; Fower, Bunck, 1995]). Эта путаница связана в том числе и с особенностями понятийного аппарата, относящегося к суверенитету. Как правило, суверенитет тесно ассоциируется с такими (не менее двусмысленными) понятиями, как государство, власть, авторитет, право и политика. Без понимания предметного поля этих понятий мы не сможем даже приблизиться к пониманию суверенитета¹.

Другая сложность понимания суверенитета в основном кроется в сфере эпистемологии. За последние 20 лет в рамках теории познания вообще (и теории познания социальных наук в частности) конвенциональность научного знания и способы его производства были подвергнуты существенной критике. Постмодернизм и постструктурализм сформулировали по сути новую теорию политики, выработав новые критические подходы к суверенитету, которые принципиально отличны от эпистемологических и онтологических допущений, характерных для “классического” восприятия суверенитета (см. [Bartelson, 1995; Weber, 1995; Walker, 1990; 1993]).

И наконец, еще одна путаница, связанная с понятием суверенитета, продиктована “человеческим фактором”. Зачастую этот термин используется в сферах, частично или

¹О взаимоотношении ключевых понятий, связанных с суверенитетом, см. [Buzan, 1983, p. 41–42]. О неоднозначности соотношения понятий суверенитета, государства и политики см. [Camilleri, Falk, 1992, p. 15–16, 18, 238–240].

полностью отличных друг от друга. Даже в случае его применения в политической и правовой науках мы часто имеем дело с совершенно разными и плохо взаимодействующими смыслами суверенитета. Не говоря уже о метафорическом заимствовании понятия “суверенитет” теми сферами знания, где оно традиционно не использовалось. В результате праведы, политические философы, конституционные теоретики, политологи постоянно “умножают смыслы” суверенитета, наделяя его все новыми и новыми эпитетами: внутренний и внешний, *de jure* и *de facto*, позитивный и негативный, национальный, государственный, народный, правовой, территориальный, технологический, культурный, экономический, институциональный и даже расовый суверенитет (см. об этом [Stankiewicz, 1969, p. 291]). Не берусь утверждать, что список исчерпан, но уже сам перечень достаточно красноречив. И хотя некоторые из вышеприведенных словосочетаний образуют действительно базовое поле понимания суверенитета, массиванный *“натиск прилагательных”* на исследуемое нами понятие безусловно *усиливал (и усиливает) путаницу*, связанную с осмыслением суверенитета.

Поэтому существует мнение, что от понятия “суверенитет” следует вообще отказаться. Несмотря на очевидный радикализм, призыв к такому отказу “циркулирует” в науках об обществе уже достаточно долго (см., например, [Laski, 1967, p. 44–45; Hoffman, 1998, p. 11–12; Carr, 1964, p. 230–231; Benn, 1967, p. 82; Falk, 1993, p. 853; Newman, 1996, p. 14–15]). В качестве возражения такому “научному радикализму” можно обратить внимание на очевидный *диссонанс между теоретической путаницей* по поводу суверенитета и *уверенным использованием данного термина в повседневной политической жизни*, где суверенное государство однозначно есть независимое государство [Jackson, 1993, p. 424]. То есть суверенитет стал неотъемлемой частью политической и международно-правовой реальности, вне зависимости от того, пришли ли науки об обществе к консенсусу относительно трактовки данного термина. Кроме того, *“если бы мы отказывались от всех спорных понятий, то поле политической науки было бы превращено в пустыню”* (курсив мой. – Г.М.) [Williams, 1996, p. 424].

Для того чтобы попытаться преодолеть возникшую путаницу, необходимо обратиться к *междисциплинарному анализу понятия “суверенитет”*. Нужно изменить угол зрения: *не пытаться выявить общий дискурс суверенитета* (это, по большому счету, невозможно), а *сосредоточиться на конкретных смысловых рамках этого дискурса*, охватив по возможности как можно большее количество научных и правовых подходов к суверенитету. Поэтому вначале будет не столь принципиально важен исторический или научный масштаб той или иной теории суверенитета или повседневной практики его использования. Нужно попытаться абстрагироваться от того, идет ли речь о государстве как таковом или о государстве как субъекте международного права, и от того, предлагается ли нам эмпирическая модель суверенитета или предписывается нормативная. Это позволит сформулировать идеальные типы теории суверенитета. При помощи данных идеальных категорий можно *попытаться сформировать “когнитивный стиль”* [Hirschman, 1970, p. 338, 330, 343], который поможет создать определенную междисциплинарную классификацию теорий суверенитета.

Суверенитет: описания, нормативные теории, правовые обоснования

Классификация различных теорий суверенитета на основе их внутренней методологической и концептуальной природы формирует очевидную *дихотомию между описательными и нормативными подходами*. Кроме того, любая теоретическая конструкция суверенитета (будь то описательная или нормативная) всегда содержит в себе правовое измерение. В свою очередь, система права, касаясь проблемы суверенитета, в основном апеллирует к конституционному или международному праву. Последние две сферы обозначают не только юридический статус суверенитета, но и политические последствия, вытекающие из данного статуса. Причем последствия эти будут оцениваться с позиций либо того, как они *проявились* (эмпирический аспект) в

действительности, либо с точки зрения того, как они *должны* были проявиться (нормативный аспект).

Нужно отдавать себе отчет, что *нормативные доктрины никогда полностью не могут быть исчерпаны чистыми нормативными теориями*. Очевидно, что недостижимо полное соответствие между нормами права как они есть и реальным поведением индивидов или институтов, для контроля которых правовые нормы создавались. Коль скоро сам факт нарушения закона есть результат соотнесения реального действия с правовой нормой, регулирование реального поведения юридическими актами всегда будет относительным состоянием, в котором факт полного регулирования – всего лишь идеальная точка отсчета, недостижимая в действительности [Franck, 1990, p. 43]. И наоборот, *констатация полного отсутствия согласования* между юридическими нормами и реальным поведением есть состояние, в котором мы вообще *не можем даже помыслить существования права как такового*, что также есть *недостижимая идеальная модель человеческой жизни* [Bull, 1995, p. 131]. Таким образом, как нереализуемые мы должны исключить состояния, в которых, с одной стороны, наблюдается полное подчинение действительности правовым нормам, а с другой – имеет место полное разделение права как нормы и действительности как описания фактического состояния.

Кроме того, можно утверждать, что определенная степень соответствия предписанного и реального поведения – необходимое условие позитивного права и правопорядка как такового. А степень несоответствия может быть обусловлена причинами, лежащими вне правового поля, но с апелляцией к праву: неудачными попытками правительственного воздействия на жизнь граждан, устареванием сводов правил и норм, пропагандистской деятельностью конфронтационной моральной философии и т.д. Таким образом, правовая нормативная мысль и актуальная действительность будут взаимодействовать, находясь между двух полюсов, на одном из которых утверждение: “*ex facto oritur jus*” (из факта возникает право. – *лат.*), а на другом – представление о законе и праве как метафорической конструкции², носящей универсальный характер, выходящий далеко за пределы юстиции.

В связи с вышеизложенным все правовые доктрины и юридические предписания можно расположить в нормативно-эмпирическом спектре в соответствии со степенью сходства или различия между предписанным и реальным поведением индивидов или институтов, от которых ожидается реакция на правовое регулирование. Это может вести к двум тенденциям.

Во-первых, компоненты конституционного права, имеющие отношение к концепции суверенитета (кодифицированного или некодифицированного) как к средоточию суверенной власти (правовой суверенитет), могут расцениваться как описательная оценка суверенитета как такового. При этом данное описание может оказывать существенное влияние на внеконституционное (но не обязательно антиконституционное) поведение индивидов или институтов. Ибо неконституционное поведение, не ведущее к очевидному конституционному кризису, рано или поздно инкорпорируется в конституционное пространство либо в виде формальных поправок, либо как неформальное принятие по умолчанию. А это означает, что даже конституционно обозначенный суверенитет всегда есть одновременно и правовой статус, и констатация реальности. В правовом статусе суверенного Ирака ничего не менялось со времен провозглашения независимости в 1958 г., однако его “суверенная реальность” за это время претерпела множество трансформаций, причем авторы данных трансформаций ни разу не провозгласили своего выхода за рамки конституционного или международного права³. Во-вторых, существуют положения позитивного международного права, которое рассматривает суверенные права и обязанности как систему нормативных стандартов.

² О метафорическом характере права см. [Austin, 1995, p. 148–150].

³ О неоднозначном соотношении конституционных принципов и реальности см. [Duchacek, 1973, p. 224].

В связи с этим бытует мнение об определенном расхождении между действием позитивных норм международного права и фактической политикой суверенных государств.

Таким образом, спор между различными школами в отношении предписанного и фактического суверенного действия и статуса касается не того, существует ли вероятность несоответствия между этими двумя состояниями, а того, какова степень этого несоответствия и каков механизм его проявления. И в XX в. характеристики такого несоответствия стали еще разнообразнее в связи с доктринальными перспективами международного права, которые оспариваются, с одной стороны, сторонниками правового позитивизма, а с другой – апологетами естественного права [Bull, 1990, p. 79; 1995].

Классификация теорий суверенитета

Если, исходя из вышеизложенного, попытаться построить классификацию теорий суверенитета, то прежде всего необходимо выделить два аспекта. Первый касается *единицы анализа* суверенитета. Здесь, очевидно, можно выделить два подхода, чаще всего встречающиеся в доктринах суверенитета: “суверенитет” как субстанция в пределах страны (государства) и “суверенное государство” как таковое. К этому также следует добавить “суверенитет” как субстанцию, возникающую при взаимодействии суверенных субъектов на международной арене. Второй аспект касается качественной характеристики самой теории суверенитета. И здесь можно обозначить описательные теории, анализирующие ситуацию как она есть, и нормативные теории, опирающиеся на категорию должного. Комбинация этих двух аспектов образует шесть идеальных типов или категорий, которым могут соответствовать те или иные теоретические подходы к суверенитету. Данную классификацию следует рассматривать как гипотезу, которую в формате научной статьи можно лишь проиллюстрировать примерами, что не претендует на исчерпывающее теоретическое построение.

Эмпирические теории суверенитета на внутрисоциальном уровне. Теории, которые можно объединить под этим названием, отвечают на два схожих, но аналитически отличающихся вопроса: где в теле политического организма находится суверенитет? какой орган в государстве можно считать суверенным по отношению ко всем другим органам, институтам и агентам? Самый очевидный подход к такому исследованию – *анализ конкретных конституционных текстов*. Но при кажущейся очевидности, данный анализ содержит массу “подводных камней”.

Можно рассмотреть пример трех конституционных текстов, где указывается местоположение суверенитета (это может делаться в скрытой или явной, но всегда в грамматически безапелляционной форме). При этом обращает на себя внимание, что источником суверенитета является один и тот же субъект, притом что политические системы будут разными (иногда диаметрально противоположными):

– “Национальный суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих представителей и путем референдума” (Конституция Французской республики. 1958 год. Статья 3);

– “Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Всекитайское Собрание Народных Представителей и местные Собрания народных представителей различных ступеней” (Конституция Китайской Народной Республики. 1982. Статья 2);

– “Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся” (Конституция Союза Советских Социалистических Республик. 1936. Статья 3).

Если конституционные принципы в достаточной степени отражают конституционную практику соответствующих государств, можно утверждать, что конституционный текст – своеобразная “карта власти”, позволяющая отследить нахождение учреждений, являющихся центрами суверенной власти, а также политических аген-

Эпистемологическая природа теории

Единица анализа (уровень анализа)	Эмпирическая	Нормативная
<i>Внутригосударственный</i>	Эмпирические теории суверенитета на внутригосударственном уровне	Нормативные теории суверенитета на внутригосударственном уровне
<i>Государственный</i>	Эмпирические теории суверенитета на государственном уровне	Нормативные теории суверенитета на государственном уровне
<i>Межгосударственный</i>	Эмпирические теории суверенитета на межгосударственном уровне	Нормативные теории суверенитета на межгосударственном уровне

Рис. Классификация теоретических подходов к суверенитету.

тов – источников всей государственной власти. Однако проблема состоит в том, что *конституционный текст не всегда учитывает внеконституционный контекст*. Само принятие конституции может носить внеконституционный характер. Содержащиеся в конституции нормы могут быть дезавуированы реальной политической практикой, превратив конституционный принцип в бессодержательный набор фраз, в лучшем случае обозначающих чисто номинального носителя суверенитета.

Еще одно направление, концентрирующееся на конституционной теории суверенитета, – это *правовая теория суверенитета* [Rees, 1956, p. 57; Camilleri, Falk, 1992, p. 22]. Данный подход пытается дать толкование суверенитету в рамках юриспруденции. Общий знаменатель для подобных исследований – концепция суверенитета как верховного правового авторитета. Такая трактовка исходит из того, что суверенитет есть свойство “очевидного человеческого превосходства”, которое возникает не из простой привычки к подчинению, но обосновывает подчинение как превосходство данного общества на территории данной страны. Понятый таким образом правовой суверенитет – прежде всего суверенное законодательство, которое воплощается в том или ином политическом устройстве [Wade, 1955, p. 189]. И хотя такой подход можно критиковать за попытки дать упрощенные ответы на сложные вопросы взаимодействия права и политики, однако следует признать, что через объединение суверенитета и права создается очень мощный аналитический и объяснительный инструмент, применимый для деятельности верховной законодательствующей власти даже в таких “подвижных” ситуациях, как, например, демонтаж Британской империи, распад СССР или интеграционные процессы в Евросоюзе.

Еще одно исследовательское направление, соответствующее принятой нами классификации описательных теорий на внутригосударственном уровне, относится к *трактовке суверенитета с точки зрения “теории власти”*. Здесь решающее значение придается не верховному правовому авторитету или четко обозначенному правительственному органу, а верховной власти специфических политических субъектов вне зависимости от их формального статуса. Хотя данные агенты могут трактоваться по-разному. В одних исследованиях суверен – обладатель “верховой принудительной власти, осуществляемой определенной организацией людей, обладающей монополией на применение инструментов насилия” [Rees, 1956, p. 72, 75, 78]. Таким суверенитетом могут обладать как силовые структуры в рамках определенного политического сообщества, так и революционеры, осуществившие успешный захват власти.

Другие сторонники “властной” трактовки суверенитета понимают последний как “решающее политическое влияние”, которое осуществляется на ограниченной территории государства поверх правового или принудительного смысла суверенитета. Чаще всего его носителем видится большинство народа, состоящего из индивидуальных избирателей [Rees, 1956, p. 60, 75]. Однако понятый таким образом суверенитет может

обнаружиться у исполнительной власти по отношению к законодательной, у какой-либо политической партии по отношению ко всем другим политическим организациям или у бюрократического аппарата по отношению к избранным представителям народа. Все три случая можно легко обнаружить в недавней российской истории или текущей действительности. Такой подход помогает определить, насколько положения конституции расходятся с конституционной практикой при распределении реальных властных полномочий, но дезавуируют значительную часть смысла понятия “суверенитет”.

Нормативные теории суверенитета на внутрисударственном уровне. Данный кластер теорий отвечает на два основных вопроса: где в теле политического образования *должен* помещаться суверенитет? какой орган в государстве *должен* быть суверенным по отношению ко всем другим органам, учреждениям и субъектам? Очевидное различие с предыдущим направлением состоит в наличии принципа долженствования, а не в констатации действительности.

Вышеозначенные вопросы были поставлены когортой выдающихся политических мыслителей XVI–XVIII вв., задавших основной мыслительный вектор эпохе Просвещения. В своих ответах на поставленные вопросы знаменитые политические философы пытались обосновать видение должного политического суверенного порядка. Следует отметить, что различные обоснования вращались вокруг общего круга понятий: договорной концепции происхождения политического сообщества, основанной либо на идее общественного договора, либо на принципе договорного правления как основе взаимодействия правящих и подвластных, и все это сопровождалось концепцией естественного права, носившего ярко выраженный нормативный характер.

Именно повсеместное использование идеи естественных прав дает возможность некоторым современным интерпретаторам утверждать, что различные теории суверенитета эпохи Просвещения были посвящены не столько нахождению местоположения суверенитета, сколько разведению абсолютизма как реальности и суверенитета как нормативного требования, для того чтобы обозначить рамки монархической власти, претендовавшей на абсолютное господство.

Если все же обратиться к решению вопроса о местоположении суверена, то теории-нормативисты эпохи Просвещения давали на этот вопрос два различных ответа. Одни утверждали, что суверенитет должен быть воплощен в правителе (идея суверенного правителя), в то время как другие полагали, что он не может быть дан ни кому-то из людей, ни какой-либо институции, но только народу в его целостности и полноте (идея народного суверенитета). При этом сразу оговорюсь, что между этими двумя полюсами находится масса подходов, пытавшихся так или иначе синтезировать идеи народного суверенитета и суверенитета правителя. Этот синтез мог происходить на разных основаниях, порождая концепции “ограниченного”, “частичного”, “двойного” или “смешанного” суверенитета [Hinsley, 1986, p. 135–140].

Сторонником идеи суверенитета правителя был Ж. Боден, считающийся первым политическим теоретиком, разработавшим систематическую теорию суверенитета. Находясь под впечатлением религиозных и гражданских войн во Франции XVI в., Боден утверждал, что только авторитет центральной и неограниченной власти, авторитет, обладающий верховенством по отношению к позитивному праву, может положить конец политическим беспорядкам. Суверенная власть такого авторитета идет от Бога, ее осуществление не зависит от субъективного признания со стороны подвластных, а значит, ситуативное плохое правление не оправдывает неповиновение подданных. Боден не отрицает, что политический организм образуется как господствующими, так и подвластными. Однако договорной механизм, посредством которого полномочия переданы подвластными правителю, был необратимым отчуждением, а не простой концессией, которая может быть расторгнута. Тем самым Боден формулирует отправную точку монархического (но не абсолютистского) суверенитета. С целью ограничения абсолютизма Боден выделяет два вида ограничений власти суверенного монарха: божественное и естественное право; традиции общества и имущественные права подданных (см. об этом [Дегтярева, 2000]).

С позицией Бодена очевидно перекликается концепция Т. Гоббса, который создавал своего “Левиафана” в Англии XVII в., прошедшей через революционную гражданскую войну и реставрацию (подобие с боденовской Францией очевидно). Можно сказать, что Гоббс первым создал нормативную теорию суверенитета на собственно государственном уровне (Боден ориентировался на монарха как такового, а не на государство как институт). Однако это не помешало Гоббсу быть сторонником идеи суверенитета правителя. Пожалуй, именно в его творчестве напряжение между государственностью как таковой и личностью суверена достигает наивысшей степени. С одной стороны, Гоббс полностью отказался от понятия договора господства между народом и правителем путем замены его идеей общественного договора, посредством которого индивиды согласились отдать государству представительство их прав в обмен на безопасность. Таким образом, суверенитет имел своим местоположением не народ и не правителя, но государство, которое было не участником общественного договора, а его результатом. Но при этом, как и другие сторонники суверенитета правителя, Гоббс полагал, что верховная власть законодательства должна принадлежать правителю, и отказывался признавать какое-либо право народа. В этой ситуации абстрактное понятие государственного суверенитета, ограниченно только долгом защиты жизни людей, могло иметь одно практическое проявление: единый, неделимый, абсолютный суверенитет правителя, поглощающий право народа [Гоббс, 1991].

Противоположного нормативного взгляда на суверенитет придерживались сторонники народного суверенитета, среди которых особо выделялись И. Альтузий и Ж.-Ж. Руссо. Альтузий был первым мыслителем, систематически обосновавшим идею народного суверенитета. При этом основанием последнего, как и у Бодена, был договор господства между народом и правителями. Но в отличие от Бодена, Альтузий утверждал, что суверенитет полностью и неотчуждаемо принадлежит народу, имеющему право на сопротивление правителю, нарушившему договор. Кроме того, он утверждал, что власть правителя ограничена не только естественным правом (как у Бодена), но даже позитивным правом (см. [Politische... 1988]).

Наиболее последовательно доктрина народного суверенитета была воплощена в политической философии Руссо. Так же, как и Гоббс, Руссо отказывается от договора господства между правителем и народом в пользу общественного договора между индивидами. С помощью этого договора, который опирался на свободное согласие всех, каждый человек добровольно подчинялся общей и абсолютной воле народа. То есть государство как воплощение общей воли, чья задача состояла в поддержании политической свободы и равенства, наделялось абсолютным и неограниченным суверенитетом. В отличие от Гоббса, Руссо отождествляет суверенное государство с политикой от имени народа, низводя положение правительства до доверенного управления, осуществляемого несuverенным исполнителем законодательных предписаний суверенного сообщества, которое может в любой момент дезавуировать свое доверие, остановив деятельность “управленцев”. Более того, народный суверенитет не мог быть ограничен какой бы то ни было конституцией или позитивным правом, а осуществление народного суверенитета не могло быть доверено какому бы то ни было представительному органу [Руссо, 1998]. Такой подход стал наиболее радикальным и чистым обоснованием доктрины народного суверенитета. И хотя эта доктрина никогда не была воплощена в своем конкретном виде, в качестве нормативной теории суверенитета она оказывала и оказывает существенное влияние на современность.

Эмпирические теории суверенитета на государственном уровне. Теории этого уровня концентрируются на государстве как целостности для того, чтобы ответить на принципиальный вопрос: какие политические (или территориальные) образования можно по сути назвать суверенными? Несмотря на то, что данный вопрос можно признать общим для всех концепций данного уровня, ответы на него будут различными, так как смысл суверенитета может пониматься по-разному (это либо правовая реальность, либо политическая действительность).

Концепции, общим знаменателем имеющие правовое понимание суверенитета, исходят из того, что термин “суверенитет” имеет юридический статус, производный от внешних или внутренних факторов, но всегда ведет к обладанию правами и обязанностями. Находясь в рамках основных принципов конституционного права и базовых положений международного публичного права, эти концепции анализируют эмпирический материал, пытаясь выделить государственных субъектов, обладающих суверенитетом и отделить последние от тех, которые суверенитетом не обладают.

Для одних исследователей суверенный статус – следствие внутренней правовой системы, опирающейся на конституционное право и связанные с ним структуры. Первым такой подход к суверенитету был сформулирован Ч. Меннингом, считавшим суверенитет аспектом природы государства как “конституционно изолированной организации” [Manning, 1975, p. 166]. Систематически эта идея была разработана А. Джеймсом, определившим суверенитет как “конституционную независимость”, которая в свою очередь означает, что “конституция государства не является частью более широкого конституционного механизма”. На этом основании Джеймс утверждает, что суверенитет – легальное, абсолютное и единственное условие, которое (в соответствии с устоявшейся международной практикой) дает государству право регулярно и в полном объеме участвовать в международных отношениях. Более того, данное условие делает государство способным обладать суверенными правами [James, 1999, p. 25, 40, 45–49, 54; Jackson, 1993, p. 347].

Другие исследователи этого уровня подчеркивают роль внешних факторов, но признают, что суверенитет – правовой статус, которым пользуются те, кто обладают признаками государственности. Это означает, что, во-первых, суверенитет определяется в рамках правовой государственности [Brownlie, 1990, p. 108] (или суммой прав, которыми государство обладает [Hall, 1924, p. 55]), а во-вторых, правовые критерии государственности определяются главным образом через ссылку на эмпирические признаки [Crawford, 1979, p. 36–74; Hall, 1924, p. 17; Brownlie, 1990, p. 71–79]. Другими словами, появление признаков государственности в международной сфере ведет к праву наций на самоопределение. То есть образование, обладающее признаками правового государства, становится суверенным субъектом права. В рамках этого подхода составлена принятая в 1933 г. Конвенция Монтевидео, которая определила правовой статус государства на международной арене, опираясь на эмпирические показатели: постоянное население, определенная территория, собственное правительство, способность к вступлению в отношения с другими государствами [Rights... 1933].

Наконец, существует концепция, согласно которой суверенным статусом обладают субъекты, имеющие определенные внешние качества, а именно – признание в качестве государства со стороны международного сообщества. Следует признать, что доктрина признания – самая популярная основа для провозглашения суверенитета в многочисленных университетских курсах по политической науке и международному праву, одновременно она порождает едва ли не самую распространенную дискуссию о неоднозначности категории признания в международном праве [Thomson, 1995, p. 219; Ashley, 1984, p. 272; Jackson, 1992, p. 7; Forsyth, 1981, p. 11; Krasner, 1999, p. 3–14; Sorensen, 1999, p. 595–596, 591–597]. Ведь в классических произведениях Г. Кельзена, Л. Опенгейма и Дж. Шварценбергера [Oppenheim, 1955, p. 286; Kelsen, 1967, p. 249], на которые ссылаются сторонники данного подхода, прямая связь между суверенным статусом и актом международного признания государства скорее подразумевается, нежели четко постулируется, так как, с одной стороны, суверенитет связан со “свойствами” или “правами и обязанностями” [Schwarzenberger, 1976, p. 52] государств, а с другой – признание рассматривается как конституирование признаков государства посредством институционализации его (государства) правовой или международной индивидуальности [Oppenheim, 1955, p. 125–126; Schwarzenberger, 1976, p. 54–56].

В этой связи концептуализация правового суверенитета как функции международного признания поднимает массу вопросов. Чье конкретное признание необходимо? В каком случае просьбы или требования о признании можно считать достаточными,

чтобы государство получило индивидуальный международный правовой статус? Суверенные права и обязанности относятся только к признанному государству? И наконец, каковы конкретные эмпирические критерии такого признания? [Brownlie, 1990, p. 90; Thomson, 1995, p. 219] Сторонники конституционной доктрины международного права оставляют этот вопрос “на откуп” непредвзятым автономным специалистам по международному праву, которые должны принимать отдельное решение в каждом конкретном случае. Однако политологи не могут “спрятаться” за международное право и потому должны дать ответ, по крайней мере, на первый из этих вопросов. Поэтому в политической науке сформировалось мнение, что признание государства обеспечивается “транснациональным сообществом политической элиты”, “европейскими или великими державами” [Thomson, 1995, p. 219], либо “консенсусом государственных деятелей” [Ashley, 1984, p. 273].

Подобная постановка вопроса формирует вторую группу теорий данного уровня, которые апеллируют не столько к юридическому статусу, сколько к фактическому положению. Это означает, что юридический статус работает только в случае, когда субъект суверенитета способен на практическое воплощение последнего. Однако это общее представление имеет крайне разнообразные терминологические обозначения. В одних работах выделяется различие между формально-правовыми условиями “негативного суверенитета”, определяемого как “свобода от внешнего вмешательства” и реальными условиями “позитивного суверенитета”, состоящего в способности правительств быть хозяевами самим себе [Jackson, 1990, p. 27–29]. Другие исследователи выделяют “суверенитет *de jure*” и “суверенитет *de facto*”, отмечая, что потеря юридического суверенного статуса зачастую произрастает из потери фактической политической и экономической автономии [Held, 1989, p. 228–229]. Наконец есть те, кто констатируют наличие “нормативного и фактического уровня” суверенитета, поэтому государства не только декларируют, но и обязательно практически проявляют свое верховенство и независимость на своей территории, и данная практика есть признак того, что суверенитет действительно имеет место [Bull, 1995, p. 8]. Однако именно последний кластер теорий, исходящих из первоочередного значения фактических условий суверенитета, наиболее зримо демонстрирует слабость аналитического инструментария, позволяющего отличить суверенную практику от несуверенной, так как однозначных критериев оценки попросту не существует.

Нормативные теории суверенитета на государственном уровне. Концепции данного уровня интересуют ответ на вопрос: какие территориально-политические образования должны быть суверенными? Один из наиболее распространенных ответов на данный вопрос состоит в том, что суверенным должно быть государство. Тривиальность подобного утверждения очевидна, а по большому счету представляет собой тавтологию, если вспомнить, что суверенитет и так является одним из существенных признаков государства. Интерес здесь представляет не само это утверждение, а те аргументы, которые выдвигаются в его обоснование.

Уже отмечалось, что концепция Гоббса была едва ли не первой нормативной теорией суверенитета на собственно государственном уровне. Идея о том, что суверенитет имеют не властители и не подвластные, но государство как таковое, была обоснована тем, что сейчас бы назвали требованием *безопасности*. С одной стороны, суверенитет должен с необходимостью быть государственным, так как этого требует сама природа общественного договора, посредством которого индивиды соглашаются отдать себя во власть государства, не участвующего в этом договоре, а потому изначально суверенного; с другой – никакой иной цели, кроме сохранения жизни индивидов, у этого договора нет (то есть общественный договор не есть акт учреждения государства, а только констатация, что индивиды соглашаются с тем, что суверенное государство будет охранять их безопасность тем способом, каким само решит) [Hinsley, 1986, p. 142–143]. Коль скоро безопасность индивидов поддерживается, то подданные (согласно договору) неизбежно живут в суверенном государстве. Кроме того, согласно еще одной интерпретации Гоббса, суверенитет должен быть “самовоспроизведением

неделимого и окончательного абсолюта”, если государство гарантирует “безопасность людей” [Held, 1989, p. 221].

Еще одна система обоснования государства как единственного местоположения суверенитета может быть названа “*демократическим аргументом*”, приобретшим особую актуальность в связи с мощными интеграционными процессами в странах Запада (особенно в рамках Евросоюза). С одной стороны, демократический процесс может осуществляться лишь в том случае, если территория и границы демократического образования (государства) четко обозначены⁴. С другой стороны, в современном мире образуются демократические структуры, где принятие решений осуществляется на надгосударственном уровне, и принцип демократической государственности как ключевого элемента демократии очевидно препятствует демократичности этих интеграционных процессов. Для преодоления такого “дефицита демократии” сторонники европейской интеграции настаивают на скорейшем перенесении демократического процесса принятия ключевых решений с национального на наднациональный уровень, то есть местоположение суверенитета предполагается перенести с государственного на надгосударственный уровень ради сохранения демократии.

Очевидно, что “демократическому аргументу” может быть противопоставлен “*националистический аргумент*”, идущий от знаменитого памфлета аббата Сийеса “О третьем сословии”, в котором последовательно были отождествлены идея нации и идея государственности [Аббат... 2003]. С этого момента идея тождества нации и суверенной государственности стала фундаментом любой формы национализма⁵. И апофеозом данной концепции стало провозглашение права наций на самоопределение. Хотя нужно отметить, что в современном мире не всякое самоопределение нации сопровождается созданием суверенного государства. При этом любопытно заметить, что аргументы против создания суверенного государства как пути национального самоопределения всегда имеют прагматический (но не нормативно-теоретический) характер, так как опровергать принцип права наций на самоопределение в современном мире – все равно, что бежать навстречу несущемуся поезду с намерением его остановить.

Описательные теории суверенитета на межгосударственном уровне. Кластер этих теорий рассматривает государственный суверенитет как эмпирическую данность. То есть не ставится вопрос о том, каким должен быть государственный суверенитет, должен ли он быть именно государственным. Теории данного направления констатируют, что государственный суверенитет существует. На этом экзистенциальные вопросы заканчиваются. Основное внимание сосредоточивается на уровне международного сотрудничества суверенных государств. И основной вопрос здесь: какова природа взаимодействия суверенных государств?

Основным недостатком экзистенциальных теорий суверенитета государственного уровня – отсутствие внимания к институтам межгосударственного взаимодействия. Между тем этот уровень принципиально значим для обнаружения суверенитета и анализа его особенностей. При этом очевидно качественное отличие международной сферы от собственно государственной реальности: *любое государство представляет собой ту или иную иерархию авторитетов, а на международном уровне ключевой иерархический авторитет отсутствует.* Государства суверенны в своих взаимоотношениях. Однако встает вопрос о том, какова природа и характер взаимоотношений между суверенными государствами как эмпирическими данностями современного мира? И здесь возможны, как минимум, три ответа.

Первое исследовательское направление акцентирует внимание на взаимоотношении суверенитета как такового с фактическим существованием суверенного политического режима, о жизнедеятельности которого есть бесспорные эмпирические

⁴ Одна из наиболее авторитетных позиций по этому вопросу [Даль, 2003].

⁵ См., например, утверждение Э. Геллнера о том, что “национализм есть изначально политический принцип, согласно которому политические и национальные объединения должны совпадать” [Gellner, 1983, p. 1].

доказательства: территория, регулирующие нормы и соглашения. Данное толкование суверенитета стало особенно популярным после “второго рождения” институциональной теории. В рамках неинституционализма выделяются “старая” и “новая игра суверенитета”.

Первый случай относится к устоявшимся государственным образованиям, которые имеют длительную историю существования, не подвергались тотальной оккупации, а следовательно, их самостоятельность не подвергалась сомнению в исторически обозримый период времени, и они имеют очевидное “историческое право играть” как субъекты суверенитета. “Новая игра” стала разворачиваться после Второй мировой войны, когда на международную арену начали выходить государства, не соответствующие прежним критериям исторической и эмпирически подтвержденной суверенности. Это и государства, возникшие (или “переформатированные”) в результате Второй мировой войны, и многочисленные бывшие колонии. Если говорить о деколонизации, то она повлекла за собой два институциональных последствия. Во-первых, принцип самоопределения бывших колоний, во-вторых, появление понятия “беднейших стран”. С одной стороны, требовалось соблюдение принципа невмешательства в дела новых государств, даже если они были квазигосударствами или их внутренняя политика нарушала очевидные нормы человечности (достаточно вспомнить каннибальские наклонности президента Бокассы). С другой стороны, для поддержания существования беднейших квазигосударств постоянно выделяется международная помощь как внешняя подпитка их суверенитета (что подвергает эрозии сам смысл последнего). В результате к рубежу XX–XXI вв. сложилась беспрецедентная ситуация “*неравноценных суверенитетов*” (см. об этом [Jackson, 1990, р. 38–49, 3–5, 7, 198–199]), которую можно уподобить известному афоризму, что все равны, но некоторые равнее.

Еще одно исследовательское направление опирается на *системный подход*, отрицая первостепенное значение институциональных норм на формирование системы суверенных государств. Сторонник подобного подхода – один из классиков *неореализма* в теории международных отношений К. Уолтс. Он исходит из предположения, что самостоятельные государства – основные системообразующие элементы мировой политики, и их самостоятельность во взаимодействии друг с другом и есть суверенитет [Waltz, 1986, р. 87, 90, 84–85]. Следует отметить, что сам Уолтс избегал использования термина “суверенные” системы, хотя фактически речь шла именно об этом. Во многом это объясняется чрезвычайной нормативной (и даже этической) насыщенностью понятия “суверенитет”, чего всячески стремятся избежать сторонники реализма.

Возникает вопрос, как в такой по сути анархической обстановке может сформироваться система международных отношений? Иными словами, лишая суверенитет какого-либо нормативного содержания, сторонники неореализма превращают его в мотивацию по достижению собственных интересов автономных государств на международной арене, уподобляя государства субъектам рыночных отношений, стремящихся к максимизации собственной выгоды, но идущих на сотрудничество для минимизации издержек.

Еще дальше идут сторонники так называемой “гоббсовской традиции” в исследовании международных отношений (не забудем, что сам Гоббс основное внимание уделял внутреннему развитию государственной жизни, не занимаясь специально международными отношениями, которые не играли для него самостоятельной роли). Сторонники этого подхода взяли идею Гоббса о том, что отношения между суверенными государствами определяются естественным состоянием, в котором хаос есть правило, а порядок – исключение. На сегодняшний день в чистом виде данный подход является анахронизмом, хотя в кризисных ситуациях о нем любят вспоминать для обличения (или защиты) той или иной внешнеполитической акции. Согласно данному взгляду на взаимодействие суверенных государств, интересы последних прямо противоположны, а взаимоотношение суверенных субъектов по сути – игра с нулевой суммой. В таком положении “мир есть не более чем период восстановления перед следующей войной” [Bull, 1995, р. 23]. В подобной ситуации хаоса и анархии нет

места для устойчивых норм и соглашений, и единственное, что сдерживает суверенные государства в борьбе друг с другом, – осторожность и страх нарушить достигнутое динамическое равновесие.

Нормативные теории государства на межгосударственном уровне. Данному кластеру теорий не свойственно особое внимание к особенностям наличного состояния суверенитета: он принимается таким, каков он есть. Однако сторонников данного подхода это наличное состояние не устраивает. Поэтому основное внимание уделяется тому, каким *должен быть* характер взаимоотношений между суверенными субъектами в современном мире, если не для достижения всеобщего блага, то для создания благоприятных условий для движения в этом направлении. По большому счету *это не столько теории суверенитета, сколько теоретическое обоснование реформирования взаимодействия ключевых субъектов международных отношений* (см. [Bull, 1995]).

Изначальная (и не скрываемая) нормативность данного подхода предполагает регулирование международных дел исключительно с помощью международного права, которое определит сферу функционирования суверенных прав и обязанностей. Но здесь встает вопрос о том, как может функционировать международное публичное право, контролирующее деятельность (суверенных?) государств при помощи норм, имеющих статус законов, если не существует властного общемирового законодательного органа? На этот принципиальный вопрос сформировалось два обобщенных ответа, которые можно отнести к двум школам международного права, упрощенно именуемых *позитивистской* и *конвенциональной*.

Сторонники позитивистской школы, идущей от Кельзена, хотя и не во всем согласной со своим “пророком”, утверждают, что единственным источником международного права является согласие государств, достигнутое либо прямо через международные договоры, либо косвенно через повседневное функционирование международного права (см. об этом [Hinsley, 1986, p. 190; Brownlie, 1990, p. 1–30, 73; Bull, 1995, p. 124, 139–143]). То есть только государства – субъекты международного права, а значит, они единственные акторы на международной арене, наделенные суверенными правами и обязанностями. Подобный взгляд делает очень ненадежным нормативный фундамент суверенитета на международной арене, ибо предполагает, что эти нормы опираются только на взаимное согласие государств, которое (будучи выведенным за рамки чистой теории) превращается в подвижную и неустойчивую субстанцию.

В отличие от позитивистской школы международных отношений, конвенционалисты полагают, что источник силы международного права не только в согласии суверенных государств, но и в совместной деятельности всего мирового сообщества как такового. Правила, в отношении которых достигнут консенсус международного сообщества, приобретают статус закона, даже если некоторые государства с этим не согласны. При этом субъектами международного сообщества считаются не только государства, но и общественные организации, корпорации и т.д. [Bull, 1995, p. 124, 139–143]. Таким образом, правила, регулирующие международные отношения, не полностью зависят от решения суверенных государств, а значит, то или иное государство обязано следовать нормам международного права, даже если оно не давало своего непосредственного согласия данным нормам следовать. Кроме того, действия государств ограничиваются наличием прав негосударственных субъектов (например, прав человека). То есть конвенциональная школа видит на международной арене не только субъектов суверенитета, но и акторов, не обладающих суверенитетом как таковым (и это принципиальное отличие от позитивистской школы). Следовательно, конвенционалисты склонны к своеобразному *сокращению суверенных прав и увеличению суверенных обязанностей*.

Здесь очевидна эрозия самого смысла понятия “суверенитет”. Поэтому не случайно многие критики “суверенного эгоизма” пошли дальше, утверждая, что отношения между государствами должны быть коренным образом пересмотрены и выведены за рамки суверенитета. Основным пунктом аргументации здесь является то, что система суверенных государств уже неработоспособна и не отвечает реалиям современного

глобального мира (подробнее см. [Мусихин, 2008]). Пути решения, предлагаемые сторонниками данного подхода, крайне разнообразны и их анализ выходит за формат данной статьи. Здесь важно то, что все исследования, ведущиеся в подобном русле, отказываются от нормативного основания, утверждающего, что суверенитет есть политический статус, отвечающий интересам человечества. Это, безусловно, жесткое (даже провокационное) допущение, однако оно имеет своим основанием более чем “респектабельную” теоретическую основу, берущую начало от знаменитой кантианской идеи, выраженной в трактате “К вечному миру”. Кардинальное требование мировой политики, согласно Канту, – транснациональные социальные связи, образуемые людьми как гражданами государств. При этом интересы всех людей сходны в своих основаниях, а интересы правящей государственной элиты часто конфликтны. В конфликте же благополучия человеческого сообщества и государственного интереса, понятого как интерес элиты, первое всегда обладает моральным приоритетом над вторым. Однако от такой позиции недалеко до утверждения, что “моральный императив в сфере международных отношений... требует не сосуществования между государствами, а демонтажа системы государств и ее замены космополитическим сообществом” [Jackson, 1990, p. 174].

* * *

Произведенная выше классификация во многом – “насильственная” аналитическая манипуляция, так как в действительности невозможно провести четкие границы между различными теориями суверенитета. Последние находятся в тесной взаимозависимости и часто вообще не позиционируются как теории суверенитета. Так, фактически нет четкой националистической теории суверенитета, существуют только определенные представления о суверенитете в рамках национализма. Более того, говоря о таком общеупотребительном понятии, как “народный суверенитет”, следует постоянно помнить, что оно не в меньшей (а возможно, даже в большей) степени относится к теории демократии, и т.д.

Поэтому я никогда не забывал о неизбежных недостатках любой аналитической классификации, тем более если она относится к такому “многослойному” явлению, как суверенитет. Любая классификация есть схематизация и неизбежное упрощение, и попытка избежать последнего приведет к такому усложнению классификации, что она оказывается попросту бессмысленной. Производя аналитическую классификацию, мы неизбежно подчеркиваем сходства и затушевываем различия в соответствии с принятыми нами упорядочивающими критериями. Подчиняясь логике принятой классификации, пришлось отказаться от акцента на работах Г. Кельзена и К. Шмитта, хотя эти произведения – “концептуальные полюса” теории суверенитета. Однако представления данных теоретиков настолько всеобъемлющи, что не вписываются ни в какую внешнюю по отношению к ним классификацию⁶.

Чтобы в какой-то степени дезавуировать неизбежное упрощение, можно попытаться проследить связи, существующие между различными теориями суверенитета. Первая, наиболее очевидная взаимосвязь – взаимозависимость между нормативными и эмпирическими теориями суверенитета. Такую взаимосвязь можно назвать эпистемологической. Любое нормативное утверждение о том, что так должно быть, либо позитивно, либо негативно связано с констатацией действительного положения дел: так должно быть и так есть, или так должно быть, но в действительности все по-другому. Похожие взаимосвязи можно проследить и в обратную сторону. В отношении теорий суверенитета можно заметить, что иногда, возникая как нормативные, они трансформируются в описательные в случае успешного практического воплощения. Это относится, например, к теории “народного суверенитета”, хотя многие спорят о реальности суверенного народа, но оспаривать повсеместное конституционное признание “народного суверенитета” бессмысленно.

⁶ О сравнительном анализе концепций Шмитта и Кельзена см. [Мусихин, 2009].

Еще один признак, по которому многие теории суверенитета вступают во взаимодействие, касается единицы анализа в эмпирических теориях суверенитета. Фактически все они, взяв за единицу анализа определенный субъект суверенитета (государство как таковое или государство как субъект международных отношений), тем не менее подразумевают, что есть и более низкий (глубокий) уровень суверенитета. Не случайно многие сторонники “реалистического” подхода к суверенитету в рамках международных отношений называют себя наследниками гоббсовской традиции понимания суверенитета, хотя у Гоббса это понимание базировалось не на межгосударственном, а на собственно государственном и внутригосударственном уровне.

Обнаружить столь же очевидную универсальную взаимосвязь между нормативными теориями суверенитета по большому счету невозможно. Взаимовлияние здесь во многом имеет качественно уникальный характер. Так, существует очевидная перекличка между теорией “народного суверенитета” и выросшей из национализма концепции права наций на самоопределение. Однако чаще всего связи между различными нормативными теориями суверенитета носят негативно-исключающий характер. Это, например, относится к трактовке государства как единственно должного субъекта суверенного права и критической теории общества, отстаивающей идею международного гражданства, согласно которой сообщество выше государства в решении вопроса о суверенитете.

Таким образом, проведенный классификационный анализ концепций суверенитета был попыткой дать упорядоченное междисциплинарное видение столь важного для современного мира понятия и явления, как суверенитет. И если данное упорядочение не получилось в полной мере успешным, то повинен тут не только автор этих строк, но и действительная сложность и многозначность исследуемого объекта. Во всяком случае, удалось подтвердить, что существует “суверенитет” как *правовая категория и термин* и “суверенитет” как *политическая риторическая конструкция*. И в обоих случаях имеет место научное академическое исследование сложившихся понятий и практик. Было бы большой ошибкой искать ответ на вопрос, какой смысл суверенитета истинный – правовой или политический. *Невозможно определить, что важнее: всеобщая обязанность граждан платить налоги или мобилизующая способность национальной идеи*. Поэтому крайне важно не впасть в “эпистемологический релятивизм”, порождающий теории суверенитета, которые “не видят” друг друга.

Кроме того, предложенная классификация определенным образом *упорядочивает сами инструменты анализа суверенитета*. В разных подходах суверенитет может пониматься эмпирически или нормативно, быть ограниченным или абсолютным, единым или делимым и т.д. Во многом это будет результатом того, что к суверенитету подошли с определенным исследовательским инструментарием, поэтому *важно различать спор о сущностях и дискуссию о методе*, что в случае с суверенитетом сделать крайне сложно, ибо явление это настолько значимо и сложно, что *поиск истины здесь зачастую подменяется этическими диспутами о добре и зле*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аббат Сийес: от Бурбонов к Бонапарту. СПб., 2003.
Гоббс Т. Соч. В 2 т. М., 1991.
Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003.
Дегтярева М.И. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом // Полис. 2000. № 3.
Мусихин Г.И. Концептуальная неоднозначность понятия “суверенитет” (Сравнительный анализ взглядов Карла Шмитта и Ганса Кельзена) // Общественные науки и современность. 2009. № 3.
Мусихин Г.И. Концептуальные изъяны демократии как проблема глобализации // Полития. 2008. № 2.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998.
Ashley R.K. The Poverty of Neorealism // International Organization. 1984. Vol. 38.
Austin J. The Province of Jurisprudence Determined. Cambridge, 1995.

- Bartelson J.* A Genealogy of Sovereignty. Cambridge, 1995.
- Benn S.I.* The Uses of 'Sovereignty' // Political Philosophy. London, 1967.
- Brownlie I.* Principles of Public International Law. Oxford, 1990.
- Bull H.* The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics. London, 1995.
- Bull H.* The Importance of Grotius in the Study of International Relations // Hugo Grotius and International Relations. Oxford, 1990.
- Buzan B.* People State and Fear – The National Security Problem in International Relations. London, 1983.
- Camilleri A., Falk J.* In The End of Sovereignty? – The Politics of a Shrinking and Fragmenting World. Aldershot, 1992.
- Carr E.H.* The Twenty Years Crisis 1919–1939. New York, 1964.
- Crawford J.* The Creation of States in International Law. Oxford, 1979.
- Duchacek I.D.* Power Maps: Comparative Politics of Constitution. Oxford, 1973.
- Falk R.* Sovereignty // The Oxford Companion to Politics of the World. New York–Oxford, 1993.
- Forsyth M.* Union of States – The Theory and Practice of Confederation. New York, 1981.
- Fowler M.R., Bunck J.M.* Law, Power, and the Sovereign State – The Evolution and the Application of the Concept of Sovereignty. Pennsylvania State University Press, 1995.
- Franck T.M.* The Power of Legitimacy among Nations. New York, 1990.
- Gellner E.* Nations and Nationalism. Oxford, 1983.
- Hall W.E.* A Treatise on International Law. Oxford, 1924.
- Held D.* Political Theory and the Modern State – Essays on State, Power and Democracy. Oxford, 1989.
- Hinsley F.H.* Sovereignty. Cambridge, 1986.
- Hirschman A.O.* The Search for Paradigms as a Hindrance to Understanding // World Politics. 1970. Vol. 22.
- Hoffman J.* Sovereignty. Buckingham, 1998.
- Jackson R.* Continuity and Change in the State System // States in a Changing World – A Contemporary Analysis. Oxford, 1993.
- Jackson R.* Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa // Journal of International Affairs. 1992. Vol. 46. № 1.
- Jackson R.* Quasi-states: Sovereignty, International Relations, and the Third World. Cambridge, 1990.
- James A.* The Practice of Sovereign Statehood in Contemporary International Society // Political Studies (special issue). 1999. Vol. 47. № 3.
- Kelsen H.* Principles of International Law. New York, 1967.
- Krasner S.D.* Sovereignty – Organized Hypocrisy. Princeton, 1999.
- Laski H.* A Grammar of Politics. London, 1967.
- Manning C.A.W.* The Nature of International Society. London, 1975.
- Newman M.* Democracy, Sovereignty and the European Union. London, 1996.
- Oppenheim L.* International Law – A Treatise. London, 1955.
- Politische Theorie des Johannes Althusius. Göttingen, 1988.
- Rees W.J.* The Theory of Sovereignty Restated // Philosophy, Politics and Society. Oxford, 1956.
- Rights and Duties of States-Convention Signed at Montevideo. December 26, 1933 (<http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/interwar/rights.htm>).
- Schwarzenberger G.* A Manual of International Law. Abingdon, 1976.
- Sorensen G.* Sovereignty: Change and Continuity in a Fundamental Institution // Political Studies (special issue). 1999. Vol. 47.
- Stankiewicz W.J.* The Validity of Sovereignty // In Defense of Sovereignty. New York, 1969.
- Thomson J.E.* State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap between Theory and Empirical Research // International Studies Quarterly. 1995. Vol. 39. № 2.
- Wade H.W.R.* The Basis of Legal Sovereignty // Cambridge Law Journal. November. 1955.
- Walker R.B.J.* Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge, 1993.
- Walker R.B.J.* Sovereignty, Identity, Community: Reflections on the Horizons of Contemporary Political Practice // Contending Sovereignties – Redefining Political Community. Boulder–London, 1990.
- Waltz K.N.* Political Structures // Neorealism and its Critics. New York, 1986.
- Weber C.* Simulating Sovereignty: Intervention, the State, and Symbolic Exchange. Cambridge, 1995.
- Williams M.* Rethinking Sovereignty // Globalization: Theory and Practice. London, 1996.